

*Кира Грозная*

ОЗЯБНУТЬ  
В ЗИМБАБВЕ



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

# ДЕТИ ОГНЯ

*(Повесть)*

За мутными окнами сумрак не тает.  
Мой северный деспот, да знаешь ли ты,  
Что там, вдалеке, на границе с Китаем,  
Заснеженных гор протянулись хребты!\*

---

\* Из авторского стихотворения.

*Моему отцу А. И. Быкову посвящаю  
эту повесть, написанную в двадцатую  
годовщину его трагической гибели.*

## 1. ШАЛАШ

Мне снился пожар. Я тушила его. Забивала пламя палкой, поливала водой. И вдруг заметила, что моя шея схвачена огненным галстуком!.. И вот уже я вся в огне. Кричу, зову Витьку с Лариской. Но криков не слышно. Я не издаю ни звука. Не могу даже сделать вдох: рот забит чем-то плотным и вязким...

Я приоткрыла глаз, потёрла отлёжанную на подушке щёку. Нет никакого кошмара. Всё то же, что и обычно: маленькая комната с оштукатуренными, местами облупившимися стенами, кровать с железной спинкой, самодельный письменный стол – доска, положенная на две тумбочки. На полу дорожка от раннего солнца, пробившегося в щель между занавесками.

Из-за стенки доносилось постукивание: уборщица (по-нашему – техничка) тётя Маша мыла лестницу. Потом она ушла, и всё затихло.

Мама и Виталик ещё спят, что хорошо. Можно выйти на цыпочках в коридор, выскользнуть из квартиры, спуститься во двор и посидеть перед завтраком в шалаше, который мы с Витькой вчера строили до самого отбоя.

Тётя Маша называла наши постройки «балаганами». Периодически она их уничтожала. Чаще всего это происходило, когда на завод приезжала комиссия, которую заставляли в наше общежитие.

Я быстро оделась и выбралась в прихожую. Фанерная дверь поддалась почти без звука.

Бум-бум-бум по старым деревянным ступенькам. У нас весь дом деревянный. Зимой жить в нём холодно, как ни конопать щели и ни утепляйся. Но сейчас уже апрель.

Я вышла во двор. Посредине – голая клумба, которая летом покрывается пышными пионами, вокруг – разросшиеся кусты, справа – земляной холм с канализационным люком, похожий на ДОТ. И всё, что заменяет нам детскую площадку: куча беспорядочно сваленных бетонных плит, траншеи канав с деревянными мостками, проложенными поперёк, и трубами, протянутыми вдоль по дну.

Напротив нашего общежития стоит Дворец Культуры – двухэтажное кирпичное здание, свежевыбеленное, с колоннами. Между общежитием и Дворцом – спортивная площадка с волейбольной сеткой и судейской вышкой.

Левее и ниже нашего дома (мы живём на холме) торчит (в буквальном смысле торчит, выглядывая из кустов облепики) чужое общежитие. Там живёт Герцог, наш заклятый враг. Почему «Герцог»? Потому что чужое общежитие называется «Дворянское». Кто дал такое прозвище деревянному «курытнику» – неизвестно. И ещё потому, что наш враг носит «герцогский» плащ-дождевик.

Почему враг? Потому что сволочь! В такое утро неохота даже думать о нём!

Правее и выше по холму – здоровенный дуб. Под дубом, среди пожухлых листьев, валяются спящие, налетавшиеся за ночь летучие мыши. Это уродливые морщи-

нистые человечки в чёрных плащах, похожие на Герцога, каким он будет в старости. Я всегда аккуратно обхожу их, стараясь не наступить. Не люблю летучих мышей, визжу, когда они с противным клёкотом проносятся почти у самого моего лица. Пару раз нетопыри намертво вцеплялись в мою шевелюру, и приходилось выстригать целые пряди. А я мечтаю о длинной косе.

Итак, шалаш был на месте. Я откинула брезентовый полог, раздвинула тонкие ветки, расплела завязки из бечевы и заглянула внутрь. Там, на подстилке из сухого хвороста, к которому только поднеси спичку – и вспыхнет, лежал маленький чёрненький сморщенный человечек!

Ну и гадость – дохлая летучая мышь! Кто её подбросил?

Шестилетний Генка, шкодливый и трусливый, был единственным, кто на такое способен, – напакостить, а потом убежать.

– Генка! Ты где, бармалей? – закричала я, выбегая из осквернённого «балагана».

Белоголовый мальчишка выскочил из-за гаража (к моему приходу, что ли, сюрприз готовил?) и, хохоча, бросился бежать.

– Вот гад!

Мне удалось настигнуть его и толкнуть так, что он скатился в канаву. Там Генка мгновенно забился под установленную на подпорах трубу, проворный и наглый, как зверёк-вредитель. Прыжки в грязную канаву для меня, покрытой шрамами и ссадинами, проблемы не составляли, – но тут долетел мамин голос:

– Таня! Завтракать!

– Твоё счастье, – проговорила я, переводя дыхание. – Вот поем и вернусь...

А Генки уже не было в траншее. Свесившись с ближайшего дерева, он кривлялся и кричал, передразнивая:

– Таня, домой! Таня, в туалет! Таня, иди получать ремня!

– Ну, погоди, Витька придёт...

– Чем ты отличаешься от чушки\*, пгидугок? – картавя, в промежутках между затрецинами вопрошал у Генки Витька. – Или мы для тебя – чушки, а с *людьми* ты культурный? Всё – убгать!

Витька, мой ровесник, самый веснушчатый человек из всех веснушчатых на земле, не спускал другим «скотинского поведения», как он говорил.

А уже через пару часов наш «балаган» был разобран до последней дощечки.

Апрель, ленинские субботники – вот что мы забыли! Командированные жильцы, вышедшие во двор с песнями, граблями и метлами, за четверть часа растаскали «кучу мусора» и нас помогать заставили.

В паре со мною таскал на помойку фанерки и листы шифера, оставшиеся от «балагана», побитый Генка. Витькиным напарником был тощий Тишка. Он жил с матерью в нашей квартире, в угловой комнатке. Мы занимали две комнаты, поскольку у нас была полная семья, из трёх человек.

У Витьки, Генки и Тишки не имелось отцов. То есть, у Витьки был отец-алкоголик, а это, как говорила мама, ещё хуже, чем вообще без папы. Хорошо, что Витьку забрала к себе бабушка.

Витька был мальчик справедливый. Генка – драчливый. Ну а Тишка в свои пять лет всё ещё мочился в штаны.

---

\* На местном сленге «свинья» (прим. автора).

Его часто можно было увидеть на нашей кухне голым, стирающим свои портки. Пятидесятилетняя тётя Генриетта так воспитывала сына: сам описал – сам стирай.

И тот, сопя, стирал, а его мать злобно напутствовала:

– Чтобы ты заболел и умер!

– А вот я заболею... и выздоровею! – неожиданно огрызнулся Тишка.

У тётя Генриетты были «нервы». Тишка – поздний, выстрадавший ребёнок, притом туберкулёзник, – дорого ей обходился.

Перетаскали хлам, помирились, разошлись по домам.

## 2. ПОСЁЛОК

Я приехала в посёлок, когда мне было три года. Оглядевшись, поначалу взгрустнула.

В Майкопе, где я родилась, росли урюк и алыча, свешивался гроздьями ароматный тутовник, пахло раздавленными каштанами. Там было жарко, шумно и говорливо. А здесь – пустыня! И бетонные плиты, нагромождённые в виде пирамид, и разрытые канавы не казались заманчивыми «лазалками», а наводили тоску. Какие-то чудища грохотали за бетонным забором, – страшные, ржавые, они мне даже приснились потом!

Вскоре я узнала, что чудища – это Подъёмные Краны, и что за нашим домом – Свалка металлолома. Туда свозили туши поедаемых коррозией автомобилей, чугунные плиты непонятого назначения, нерабочие печки и мангалы, корабельные останки. Это было наше любимое место для игр.

Во Дворце Культуры по вечерам играла музыка. Как раз тогда, когда меня укладывали спать. За Дворцом была

танцевальная площадка, но я ни разу не видела танцующих пар. Сквозь трещины в бетонном накате прорастала трава. А музыка гремела каждый вечер. Ровно в девять включали Джо Дассена. Когда я впервые его услышала, спросила у мамы, кто это поёт. Мама ответила: «Джо Дассен, французский певец, он уже умер». Я поинтересовалась: «От чего?» Не знаю, что побудило маму ответить так, но она сказала – дословно: «У него разорвалось сердце от любви к людям».

Я слушала музыку Джо Дассена и верила маме...

С трёх лет я боялась смерти. Мама придумала, как меня успокоить. Она сказала: пока я вырасту, учёные изобретут лекарства, продлевающие жизнь до пятисот, до тысячи лет – и даже такие, благодаря которым люди смогут жить всегда.

Это «всегда» показалось страшнее смерти. Лёжа без сна, я представляла бесконечную извилистую дорогу, уходящую в горы. У нас такая дорога начиналась за ашханой, местной столовой, и заканчивалась на плато, где были кладбище, яблоневый сад и музей Пржевальского. Моя же дорога конца не имела, и на каждом повороте маячила, поджидая меня, старуха в чёрном, с палкой. Поворот повторялся, всё повторялось; и это было и будет всегда. Бессмертие, в отличие от смерти, не перехитрить учёным, и никуда от него не деться.

Ещё впечатления; они свежи и остры, как ранние тепличные огурцы...

...Мама везёт меня на чугунных санках с литой спинкой и деревянным сидением. Санки застелены пуховым платком, и я вся, вместе с шубкой и валенками, завёрнута



в платок. Скрипит под полозьями снег. А вокруг – высокие сугробы. Пощипывает щёки, влажнеют, а затем склеиваются, смерзаются ноздри: это мой первый мороз, и он для меня – открытие. Я – первооткрыватель зимнего посёлка, его первый поселенец! Куда мы едем?

...Я гуляю с мамой за руку. К озеру сбегают огородишки и сараи, дорога – сплошная грязь. Единственное живописное пятно – полоска неба между сараями. К одному из сараев приколочен фонарь с неоновой лампой. Фонарь загорается каждый вечер, едва начинает темнеть. Небольшая низкая тучка всегда висит в этом месте, розово-багровая в свете мигающей, издыхающей лампы. Тучка сопровождает меня от самого дома: ждёт, когда меня выведут на прогулку, неторопливо летит за мной через парк, – а здесь, у фонаря, мы с мамой идём дальше, а тучка остаётся висеть над сараем. «Мама, смотри, облако!» – «Где облако? Там общественный туалет, глупышка», – мама смеётся. «Там облако», – повторяю я. «Ты хочешь в туалет? – догадывается мама – и сердится: – Японский городской! Только вышли!» Мне грустно: мама не видит облака... Потемнев, оно выпускает первые слезинки, и мама торопит меня. Тучка плачет; назавтра всё будет в лужах...

...Мы идём прогуляться перед ужином. Спускаемся к озеру, выходим на пляж, который называется «гусиным». Уже сереет небо, пищат комары, и вода стекленеет. В это время суток не искупаешься. Но здесь красиво и тихо. Озеро Иссык-Куль не зря называют жемчужиной: от него идёт жемчужное сияние, и это видно только в сумерках... Вдруг мама наклоняется и, покопавшись в песке, поднимает что-то круглое, гладкое. Яйцо! Какая-то курица, растеряха, снесла его прямо на пляже! Мы радуемся, я даже подпрыгиваю, мама смеётся. «Сварим макароны,

яйцом зальём, – размышляет она вслух. – Или нет, я тебе его сварю в “мешочек”... Или хочешь всмятку, доченька?» Мне всё равно, как мы съедим яйцо. Я радуюсь, потому что вижу мамину улыбку. «Мама, мама! Можно я понесу?»

Конечно, я кокнула это яйцо. Как мы с мамой плакали. Но меня она не ругала, даже не упрекнула.

Осенним вечером к нам пришла женщина. Мама сказала, что это тётя Валя и она будет у нас жить вместе с беспокойным кряхтящим кульком, который принесла с собой.

Когда кулёк развернули, он оказался... мокрым! Тётя Валя и мама засуетились, нагрели воды в тазу, достали какие-то тряпки. Я с интересом рассматривала недовольно пыхтящее существо с большой головой и раздутым тельцем, с тонкими ножками. После того, как существо переодели, я узнала, что его зовут «Геннадий», что ему нет и года, но, невзирая на это досадное обстоятельство, я должна буду с ним играть.

Как это – «нет и года», я не понимала в свои три. И что мне делать с этим «Геннадием»? Попыталась угостить его леденцом, чтобы задобрить – он его облюбовал и выплюнул, а сам покрылся шелушащейся сыпью, за которую влетело почему-то мне! И как с ним играть, если нельзя надевать на него кукольную одежду, нельзя колоть ему уколы бабушкиным настоящим шприцом без иглы, нельзя его щекотать, трясти за плечи, дуть на красное личико, чтобы он смешно морщился? Поиграешь тут!

Потом, гораздо позже, мы подружимся и забудем, как забываются досадные конфузы, каким ты, Генка, был неуклюжим пузаном с большой головой, покрытой белень-

кими волосиками, и как делал неумелые шажки и падал, стучаясь башкой. И, что важно, ты забудешь, как я тебя обижала: щипала, тягала за тонкие волосики, совала за ворот горсть крупных градин, пока поблизости не было взрослых. Я мучила тебя, потому что меня распирало от болезненного чувства, когда ты ковылял или ползал рядом со мной, и я улавливала твой запах: тёплый, ягнячий, раздражающий. Я украдкой рассматривала пухлые растопыренные пальчики, вареничные ушки, кукольно-хрупкое вечно хмурое личико, нетронутое младенческой безмятежностью. И, насмотревшись и надышавшись, наполнялась звериной любовью и принималась мучить тебя...

Став постарше, я узнала, что наш посёлок с манящим названием Пристань – самое «крайнее» место на свете, и вся «настоящая» жизнь происходит вне его.

Полностью посёлок назывался Пристань Пржевальского. А близлежащий город – Пржевальск, в честь путешественника Пржевальского, могила и музей которого находились на холме над нашим общежитием, минутах в двадцати ходу.

В посёлке на берегу озера Иссык-Куль жили русские, украинцы и этнические немцы. Киргизов, представителей коренного населения республики, на Пристани было мало. Наезжали и командированные – такие, как мы.

Мало кто знал о том, что красивейшее озеро Иссык-Куль служило полигоном для испытания торпед.

Глядя назад, я всё вижу будто сквозь дымку. И в центре – нашу дворовую компанию, состоящую из Витьки, Тишки, Генки и меня. Как будто мы только вчера сидели на свалке в своей любимой пещерке, образованной

бетонными сваями и чугунными скобами. Я назвала пещерку *каменоломней* – и прижилось.

Вижу *каменоломню*, три мальчишеских головы – две беленьких и одну русую. И даже себя, цыганистую девочку с подвижной мимикой и вечно испачканным лицом, почему-то вижу.

Вокруг – в дымке: горные хребты со всех сторон (мы в котловане), озеро, пыльная дорога, где бродят собаки и домашняя скотина, которую хозяева отпускают на вольный выпас. Иногда скотина забредала в наш двор, лакомилась цветами с клумбы. А то, проснувшись рано утром, мы видели под окном озабоченную морду коровы или лошади, увлечённо жующую подол маминой юбки, сушившейся на верёвке во дворе. И не было никого с фотоаппаратом!

Центральная улица была названа в честь Кирова, но её переименовали в Гальюнштрассу – из-за деревянных сортиров вдоль дороги, наивно и бесстыдно претворявших в жизнь лозунг технички тёти Маши: «Шоб у кустах не гхадили!» Среди командированных шутников хватало. Пржевальск, близлежащий «крупный» город, заводские остряки называли Парижем. И каламбурили: «В Париже нечего жевальск!»

Транспорта на Гальюнштрассе было мало. Проезжали в кои-то веки рейсовый автобус до Пржевальска и наш заводской. С рёвом проносился на старенькой «Яве» с коляской, вздыбливая пыль, участковый милиционер, почему-то грузин. Иногда грохотала по своим делам грузовая машина с крытым кузовом; заводчане называли её «Коломбиной». Моя мама посвятила ей стишок:

Какая странная машина –  
Загадка века «Коломбина»!

Как только ехать дан приказ,  
Она ломается тотчас.  
Как Вовка деньги получает,  
Она не ездит, а летает!

Вот и весь транспорт.

...Картинка расплывчата, зато звуки отчётливы.

Фон – звенящая предутренняя тишина. Ноты, отрывистые и мелодичные, проступают из тишины, как контуры и линии – из загрунтованного холста. Свист крыльев летучих мышей – пригибайся, беги! Кряканье, клёкот, «курлы-курлы» и «гур-гур-гур» от окрестных огородов с их птичьими хозяйствами.

А ещё каждое утро, за годом год, пронизывая рассветную тишину, доносился мелодичный женский голос, звавший: «Ребя-ат-ки!». Кого выкликала эта женщина, и что за «ребятки» торопливо, гуськом или россыпью, спешили на её зов, я так никогда и не узнала.

Жизнь в посёлке была суровой, как горный климат. Мама, приехавшая туда, потому что командированным давали общежитие, а в Ленинграде нам жить было негде, ходила в ватнике. Чтобы приезжие не приставали. Привыкнув огрызаться, мама посуровела, между тонких бровей навсегда проступила вертикальная складка.

Одним своим взглядом она вызывала оторопь у местной шпаны. Необыкновенно цветисто ругалась: «етиткин хнык», «мать твою за ногу» и «твою мать». Однажды, когда я спросила у мамы, что такое «твою мать», она объяснила: «Это значит: ты не слушаешь свою мать!».

Но что больше всего приводило в недоумение, так это «дуры кусок». Я понимала по-своему: если я – «дуры кусок», значит, мама – целая дура! Или почти целая: без одного куска...

Однажды мама вышла на кухню, а я вдруг схватила её маникюрные ножницы и тотчас же, без зеркала, остригла свои локоны с правой стороны! Мама вернулась и ахнула. Наказала меня, поставила в угол, а потом допытывалась: «Ну, ты всё поняла?» – «Поняла, мамочка! Больше никогда-никогда не буду стричься без зеркала!»

В другой раз разрисовала себе лицо красным и фиолетовым фломастерами. Мама в первые секунды подумала, что ребёнок весь в крови, и вскрикнула от ужаса. «Мама, я – индеец!», – гордо сообщила я. Фломастеры не отмылись несколько дней...

Мы с Генкой поддерживали друг друга в реализации преступнейших замыслов. Поджоги, потопы, мелкие кражи, нанесение друг другу увечий... И это далеко не полный список.

Мама гонялась за мною с ремнём в руке (чаще не догоняла). Генкины вопли, доносившиеся из-за тонкой дощатой стенки, оповещали весь дом о том, что Генку порют будь здоров! Опять шлялись по свалке, опять стащили спички? Получите – распишитесь! Попомните в следующий раз. И со двора – ни на шаг, поняли, чудовища?

Мы отсиживались в зарослях чертополоха, мрачно переживали общую на двоих обиду. Недолго, впрочем: всё плохое накатывало внезапно, протекало бурно, забывалось мгновенно. Быстрее, чем кошка успеваешь окотиться. А повидали мы и кошачьи роды – жизнь на полигоне ничего не таила от своих детей.

### 3. НАШИ МАТЕРИ И МЫ

Матерям, молодым и одиноким, вместе живущим и воспитывающим «исчадий», приходилось держаться друг за дружку. Их дружба была не женской, а, скорее, мужской: подставить плечо, подать молоток, приволочь из магазина аж две неподъёмные сумки (если вдруг в «Стекляшку» завозили какие ни то продукты, и одна раньше другой поспевала к месту разбора). Они дружили, не рефлектируя, не оценивая друг друга, приняв безоговорочно тот факт, что вдвоём легче, чем поодиночке. Они редко плакались друг другу в жилетку. Не до того было.

Первую красавицу (мою маму) звали Лида. Она была тридцатилетняя, высокая и тонкая, с неожиданно большим бюстом и длинными ногами. Фигура манекенщицы, как говорили в восьмидесятые. Уже давно термина такого нет. Однако гламурное «модель» не подошло бы к Лиде: для модели ей чего-то не хватало. Или чего-то было слишком много. Тёмные кудри, причёска «Гаврош» (еженощный болезненный сон в бигуди). Крупные черты лица, нос не то древнеримский, не то древнегреческий. Глаза такой ослепляющей синевы, что даже не верилось. Порода!

Вторая, Валя, была немного моложе Лиды, ниже ростом и шире в кости. А выглядела худее – может, потому что грудь имела небольшую. («Такое богатство и такое неудобство», – так говорила Лида про свой бюст). Валя редко носила распущенными свои русые волосы, чаще собирала их в косу или сооружала на затылке «гулю».

Обе были красивы по-своему, не кукольной красотой, а настоящей, хотя их улыбки не были белоснежны, а шкафы не ломались от нарядов. Молодые одинокие мамы, женщины конца семидесятых. Бедные девочки,

тростинки, тепличные растения, каким-то полоумным селекционером пересаженные в условия вечной мерзлоты. «Какие побеги они дадут?», – возбуждённо думал селекционер, потирая руки.

Однако эксперимент удался: побеги оказались живучими, практически неистребимыми. Чахлые на вид, но стойкие, не ломкие, хлёсткие, пахнущие клейкой высокогорной смолой и свежайшим древесным соком.

«Побег» номер один – я.

В Майкопе я считалась одаренным ребёнком. В годик заговорила фразами. Читала бабушкиным гостям стихи, стоя на табуретке. «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». Или: «Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор»...

Ещё больше моя бабушка любила, когда я читала гостям свои собственные стишки. «Представляете, внученьке три годика, а она уже стихи сочиняет!» Бабушка рассказывала о том, как застала меня ночью сидящей в кроватке и бормочущей что-то с полузакрытыми глазами. Она прислушалась – я декламировала:

Ночью сон в глаза нейдёт,  
Утром вьюга стонет ужасная.  
Отчего так время идёт?  
Отчего наша жизнь напрасная?

Бабушка офигела. В первую очередь от сочетания глубокой и пронзительной философии – с простонародным «нейдёт». Это моя старенькая няня, деревенская женщина с чистой душой, так говорила: нейдёт. Меня она называла: «Моя нецененна, моя драгоценна». Няня окончила



четыре класса церковно-приходской школы с похвальной грамотой и наградной книжицей за подписью государыни-императрицы. Она читала мне народные вирши и стихи классиков, безжалостно перевранные народом же. Она же и запустила в кудрявую голову младенца философские размышления...

С той ночи стихи из меня просто попёрли, бабушка не успевала их записывать. Пришлось срочно учить меня писать и читать (переводить, так сказать, на «самообслуживание»).

Уже в посёлке, стриженная под мальчика девочка в шортах, я разгуливала по парку за обветшалым Дворцом Культуры, что-то бубня себе под нос: сочиняла увлекательные истории про себя и своих друзей. Не живых, а придуманных друзей, которые у меня когда-нибудь будут. И у которых будет много-много игрушек. Например, большая жестяная машина с педалями и рулём. И автобус с пластиковыми стёклами и маленькими человечками внутри, с загорающейся лампочкой и раздвижными дверями. А ещё – *арбалет!* Огромный, неподъёмный, ржавый, потому что он не игрушечный, а настоящий, из древности...

Пока я ходила по парку и бубнила себе под нос, болтая с очередным несуществующим другом, за мной выстраивалась стайка местных детей, семенивших по пятам и передразнивавших мои гримасы и жесты. Однажды, когда я особенно увлеклась и, размахивая руками, принялась разговаривать сама с собою вслух, меня обожгло что-то ниже спины. То был острый камешек, брошенный кем-то из обезьянничавших «поклонников».

Так меня настиг первый гонорар. Или первый критический отзыв? Кто знает. И то, и другое бывает и сладко, и больно.

Существовала, однако, теневая сторона *одарённого ребёнка*, отмеченная родимым пятном на темечке, заросшем волосёнками, и дурной славой цыганских предков. Маленькая девочка любила огонь. Жаркий, искрящийся, опасный – огонь, который так легко получить, стянув у взрослых спички, и так трудно удержать в какой бы то ни было загородке. В этом мы с Генкой убедились, когда чуть не спалили сарай. Огонь не хотел удерживаться в деревянном ящике, в котором мы его разожгли! Мы, перепуганные, с трудом потушили и ящик, и облизанные наглой искрой потемневшие доски пола...

– Вечно ты ищешь себе *шибеницу*\*, – укоризненно говорила моя бабушка-украинка.

Конечно, я не искала никакой «шибеницы» сознательно. Я просто плохо координировала движения, и поэтому всё время падала.

Как только меня выпускали погулять, я тут же пулей вылетала за дверь, неслась, не разбирая дороги – и грохалась. В момент падения умудрялась подставить под удар сразу и колени, и локти, и подбородок! Наша домашняя аптечка опустошалась моментально. Уходило всё, что годилось для обработки ран: йод, зелёнка, перекись водорода, стрептоцид. Километрами расходовались бинты и ленточный пластырь. Мама перевязывала меня, как раненого бойца. «Не боли у Танечки, не боли у маленькой... А боли у волка, боли у крокодила, боли у Бармалея...» Однако мне было жалко и волка, и крокодила, и даже Бармалея, – и я возражала: «Нет, надо говорить: боли у Яна Смита из Южной Родезии!»

---

\* Виселица (укр.).

Мятежный правитель самопровозглашённой республики, сторонник расовой сегрегации, по определению был хуже и Серого Волка, и самого Бармалея. Так воспитывали.

Однажды вечером к нам в комнату заглянул знакомый и ужаснулся при виде лежащего на кровати ребёнка, над которым суетилась мама со свежевystиранным (опять не хватило стерильных) бинтом, перевязывая покалеченные руки и ноги. А я улыбалась.

Боль и досада от падения быстро забывались. Я с интересом разглядывала многоцветные раны, красно-синешофиолетово-жёлтые, и всегда отколупывала корочки.

Оставлять меня без присмотра было нельзя. Запертая в комнате, я вспарывала подушки и выпускала перья, разрисовывала красными мелками стены. Однажды после подобного происшествия нас с мамой вежливо, но твёрдо «попросили» из общежития.

Тогда мама сняла комнату у базарной бабы Фени. Помню толстых внуков этой женщины. Я честно пыталась с ними играть; видимо, наигравшись, мы потом никогда не общались, хотя ходили в один детский сад, а затем и в школу.

Вскоре нам разрешили вернуться в общежитие: комендант сменился. Но мама больше не оставляла меня одну, а оформила в детский сад.

У бабули и няни я жила как королева. Кушала овсянку, периодически разбрасывая кашу по всей комнате или «докармливая» ею няню. Гуляла, окружённая мелюзгой, глядевшей мне в рот, потому что я знала много историй и стихов и интересно их рассказывала.

«Моя нецененна, моя драгоценна», – говорила старушка-няня, а сама всё вязала носки на мои стремительно

растущие лапы: в полоску и в ромбик, с рыбками и кисками, нитяные и пуховые...

Было очевидно, что неприспособленный ребёнок не выживет в новых условиях. Поэтому мама объяснила мне, что я – «пигалица» и «шмокодявка», а вовсе не царственная особа, и должна ходить в садик, как все нормальные дети. Годовалого Генку вон и то в садик отдадут. Так что завтра мы пойдём туда вместе, и я подам Генке пример.

– Не хоч-у-у-у! Не бу-у-у-ду! – верещала я, мотая вихрастой головой.

– Хотеть буду я! – жёстко ответила мать. – Твоё дело – слушаться.

Это объяснение всё расставило на свои места. Значит, теперь будет так: всю долгую и унылую вечность, которую придётся проживать, когда врачи изобретут лекарства от смерти – за меня хотеть будет мама. И баста.

Главное впечатление, оставшееся от детского сада – это укоренившееся на много лет убеждение в том, что я дебил. Я не умела завязывать шнурки на ботинках, облуплять яичко за завтраком, застилать кровать. Ничего не умела. Мои стихи и выдумки тут никого не интересовали.

В мой первый детсадовский день воспитательница и нянечка конвоировали нас в уличный туалет. Воспитательница сопровождала девочек, а нянечка – мальчиков. Запускали детей в сортир по три штуки, потому что страшных дырок в полу было по три, в том и в другом отсеке.

Мы шли чинно, держась за руки: мальчик-девочка, мальчик-девочка. Ещё одна «прелесть» детского сада – необходимость брать за руку совершенно чужого человека. Не помню, чтобы мне хоть раз достался мальчик без бородавок.

Посреди детской площадки рабочие монтировали чугунную карусель. Годом позже меня столкнул с этой карусели, я треснувшись об её лопасть, получила черепно-мозговую травму. Всю жизнь буду мучиться головными болями... Тогда я этого ещё не знала, а только увидела сноп искр под руками рабочего-сварщика.

Неделей раньше мы с мамой шли мимо сваленных в кучу труб, с которыми возились какие-то люди. Рабочий в каске и маске, похожий на рыцаря в шлеме с забралом, сидел перед трубой на корточках, и под его руками плясали искры. Я остановилась и уставилась на огонь.

«Отвернись, – приказала мама и дёрнула меня за руку. – Это – сварка. Нельзя смотреть, а то ослепнешь». Мне хотелось смотреть и смотреть на белые икры, с треском рассыпавшиеся под руками «рыцаря», но от них и вправду заболели глаза...

И сейчас, увидев знакомые искры, я обрадовалась им, как родным. Но тут же вспомнила слова мамы о том, что они очень опасны.

## **КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА**